

о. Александр ЕЛЬЧАНИНОВ

ЕПИСКОП-СТАРЕЦ

(Воспоминания об епископе Антонии Флоренсове)

Публикация и вступительная статья С. П. ВОЛОХОВА

Вологодский епископ Антоний Флоренсов, ушедший на покой на границе XIX-XX веков, был незаурядной личностью. Поэтому понятен интерес к нему о. Александра Ельчанинова (1881—1934 гг.), который и сам оставил яркий и незатухающий след в памяти его знатных.

О. Александр любил свою коренную связь с русским прошлым: он принадлежал к семье, многие поколения которой были воинами. Родоначальник ее, рыцарь Алендрок, вышел из Литвы на службу к князю Василию Темному. Когда Александру было 12 лет, умер отец. Семья жила на пенсию, и Александр еще в гимназии зарабатывал уроками и платил за учение своего брата, сам себя содержал во время учения в Петербургском университете. По окончании он был оставлен при университете для научной работы (по кафедре истории). У него установились дружеские связи с деятелями русской культуры, достигшей блестящего расцвета в начале нашего века. Это время отмечено движением к церкви и проповедью веры в утешавшем ее русском обществе. Движение возникло среди писателей, богословов и церковных деятелей. Старший друг и наставник Александра Ельчанинова о. С. Булгаков вспоминает: «То было светское пастырство, проповеди веры в среде одичавшего в безбожии общества, и ей отдавался он, будущий пастырь, ранее своего пастырства. Во всей этой работе собирания духовных сил против безбожия и равнодушия он являлся неизменным и незаменимым тружеником и сотрудником, смиренным и преданным исполнителем того, что на него возлагалось. Имя его должно быть вписано в историю нашего церковного просвещения как новейшего движения христианской мысли в России. Этому содействовали и его личные свойства, особое очарование его юности. Когда он появлялся — со своим лучистым ласковым взглядом — навстречу ему раскрывались сердца и появлялись улыбки».

Особенная дружба, начавшаяся еще с детства, связывала Ельчанинова и с будущим священником Павлом Флоренским. Под его влиянием и по собственной склонности, хотя и не имея еще мысли о возможности для себя священства, Александр поступил в Богословскую Академию Сергиева Посада; принял участие в только что основанном Московском Религиозно-Философском Обществе и был его первым секретарем. В это же время в журнале «Новый Путь» появилась его первая статья «О мистицизме Сперанского», а годом позже — книга «История религий».

Курс в Академии прерван призывом на отбывание воинской повинности на Кавказе, и в Академию Ельчанинов больше не вернулся, увлекшись педагогической деятельностью, став сначала учителем, а потом директором одной частной гимназии в Тифлисе. О его педагогическом даре пишет проф. Гарвардского университета Карпович: «Все самое существенное в нашей жизни было связано с ним. Ему можно было сказать о том, что никому другому не доверил бы. У него можно было искать разрешения разных сомнений и советов в трудных случаях. Его влияние перевешивало, если не исключало, все остальные. Наша привязанность к нему была безгранична, но влиянием своим он пользовался с исключительной осторожностью. Никому ни-

чего никогда не навязывая, он старался только помочь каждому найти правильный путь в ту сторону, куда каждого из нас влекло».

После революционной бури Ельчанинов оказался с семьей во Франции, в Ницце, где первое время занимался сельским хозяйством, совмещая это с уроками русского языка для русских детей во французском лицее. В 1926 году он принимает священство, которое было естественным продолжением и внутреннего его пути и внешней деятельности. Он сам рассказывает, как это произошло: «Я получил письмо от о. Сергея Б., где он настойчиво советует мне принять священство. Сначала мне стало страшно, как бывает страшно, когда почувствуешь судьбу, рок. Я понял сразу, что это невозвратимо, что это моя судьба. В другом я, может быть, пытался бы обойти ее, но тут я почти не колебался — я пошел навстречу, и тогда стало так радостно и ясно на душе. На старых путях (педагогика, лекторство) мне было уже нечем жить, на новом пути я ожидала, возрождаюсь снова. Это мое посвящение во 2-ю степень. Первое — брак, второе — священство».

В священстве он проявил высшее, к чему был призван, и осуществил замысел Божий о себе. Кто-то из его друзей сказал даже о его внешности в день его рукоположения: «Весь его иконописный облик как бы наконец нашел свое подлинное изображение». «До священства — как о многом я должен был молчать, удерживать себя. Священство для меня — возможность говорить полным голосом», — писал он сам. Его духовник о. С. Булгаков так оценивал его как священника: «Не только по своим личным качествам пастырской призванности и одаренности совершенно исключительной, но, в особенности, по своему типу о. Александр как священник представлял собой явление необычайное и исключительное, ибо он воплощал в себе органическую слияность смиренной преданности Православию и простоты детской веры со всей утонченностью русского культурного предания».

«В этой жизни, — говорил профессор Зандер, — он не был гостем; он был наш, он принадлежал нашей эпохе, нашей культуре, нашему кругу людей и интересов. Поэтому так живо и так просто можно было беседовать с ним о всех вопросах современности. Но все, что он говорил, было освещено каким-то одним внутренним смыслом, было связано одной идеей, и чувствовалось, что многообразие жизни есть для него подлинная и живая риза Божества. Отсюда та сосредоточенность, та внутренняя строгость, которыми дышали его слова. У него не было предвзятых точек зрения, он легко вживался в любую мысль; но душа его стояла на камне, и это придавало его беседе исключительную ценность; он мог говорить обо всем, всегда говоря о том же; шел с собеседником как друг и невольно вел его как учителя».

Надо отметить, что интересы о. Александра были скорее характера практически-аскетического, чем отвлеченно-богословского. Центр его внимания — приложение христианства к жизни, жизнь человеческой души. «Исповедь была основным призванием его священства. Знаменательно, что первый приступ его смертельной болезни свалил его во время исповеди» (монахиня Мария).

Свое служение он нес также в проповеди. И как раньше его уроки и лекции были полны духовной высоты, так теперь его проповеди отличались ясностью, сжатостью, насыщенностью мысли. Он всегда заботился о том, что он скажет, и никогда — о том, как скажет. Поэтому его проповеди носили характер непосредственности и глубокого внутреннего чувства, соединенных с ясностью мысли.

Одним из больших увлечений отца Александра было Христианское Студенческое Движение Молодежи, к которому он близок был еще в России через проф. Новоселова, принявшего после революции монашество и погибшего в сане епископа. «Я все больше ценю Движение, — пишет о. Александр, — как собрание всего живого в церкви, всех тех, кто принимает христианство не как традицию, не как слова, не как быт, а как жизнь. ...Атмосфера съездов Движения напоминает мне отдаленно тот горячий воздух тесных христианских общин апостольского века, в которых дышит Дух Святой и совершаются чудеса, без которого христианин задыхается и является только тенью, только схемой христианина».

Незадолго до своей болезни о. Александр говорил, что хотел написать книгу для молодежи, как бы в ответ на часто обращаемые к нему, типичные для современного юношества вопросы. Он завел папку с надписью «Письма к молодежи», но этот план не осуществился, и только после его смерти из писем отобрано то, что могло бы хоть отчасти осуществить намерение.

...Воистину, о. Александр Ельчанинов был человеком «большой судьбы», которая определяется внутренней гармонией, близостью Божьего замысла о человеке к тому, как человек этот замысел осуществил в жизни... Он был представителем того культурнейшего слоя русского общества, которое определило собою духовный облик и мысль блестящего начала XX века. Свой жизненный путь о. Александр завершил в совершенной полноте христианской смиренной праведности...

В 1918 году в Донском монастыре в Москве скончался Преосвященный Антоний Флоренсов, бывший епископ Вологодский.

В Москве и провинции многие знали Владыку как мудрого и благодатного духовного руководителя. Он был настоящим православным «старцем» — руководителем людей и в их практической жизни, и на путях к спасению. Но вместе с тем он имел свои особенности, отличающие его от наших старцев и приближавшие его к нашей современности. Во-первых, он был епископом с необычайно сильным сознанием в себе силы и власти епископа Вселенской Церкви; во-вторых, он очень широко смотрел на условные формы современной ему церковной обстановки, но внутренне всегда был от нее свободен; наше синодальное управление, обер-прокуратура, архимандриты и консистории никогда не казались ему вечными и неизменными категориями. Он был свободен и широк и в своих суждениях о науке, языческой древности, которую он очень чтил, природе, семье.

Я имел счастье личного общения с Владыкой в течение 1908—1910 гг. Последующее имеет задачей познакомить читателя с его образом, поскольку он отразился в нескольких его беседах, которые я тогда же с буквальной точностью записывал. Этим записям я предпосылаю небольшое введение, где попробую собрать все то немногое, что уцелело у меня в памяти о Владыке.

Он жил в Донском монастыре «на покое» с 1898 года, занимая точно то самое помещение, которое впоследствии было отведено Святейшему Патриарху Тихону, — от ворот сейчас же направо, в монастырской стене. Пройдя под обширными массивными сводами ворот, посетитель поднимался по узкой лестнице во второй этаж. В годы моего знакомства с Владыкой при нем жил все тот же келейник Ж.; но часто Владыке самому приходилось подходить к двери на робкий звонок (колокольчик) посетителя. После обстоятельных расспросов через запертую дверь посетитель через маленькую переднюю приглашался в небольшую приемную, которая обычно служила и столовой — диван с подушками, овальный стол, кресло, несколько стульев, дверь в кабинет и спальню. Комната эта нисколько не характерна для хозяина: настоящие комнаты его, с его образами, книгами, большим сундуком биографических материалов — записей о его беседах с посетителями, — все это было дальше — в кабинете и спальне Владыки, куда он допускал немногих, как особую милость.

Не всегда Владыка сразу выходил к гостю: обычно посетитель томился в приемной минут 30-40, с тоскою прислушиваясь к звону склянок, плеску воды, тяжелым вздохам Владыки или шелесту бумаги. Давали Владыку собраться с мыслями посетителю в эти полуночные ожидания, или готовился сам к приему и беседе, перебирая свои заметки, относящиеся к делу, или действительно ожидая (зимою), пока восстановится температура, нарушенная приходом гостя с воздуха, как это он сам объяснял.

Наконец быстрыми шагами выходил он сам, сильным движением давал благословение, усаживал гостя и сам усаживался в кресле. За мои многочисленные встречи с Владыкой я видел его в самых разнообразных состояниях: больным, гневным, огорченным, но никогда не помню его вялым, равнодушным, слабым. Всегдашняя бодрость, какая-то душевная выпрямленность, постоянная готовность к действию — были его главными чертами. Таков он был и по наружности: очень высокий, несгибаемый, в остроконечной скуфье, с темными суровыми глазами на темном, худом лице. Таким именно я вспоминаю его чаще всего, хотя и часто видел его и в других аспектах: шутливым, ласковым, но и тут всегда чувствовалась его постоянная готовность к бою, к беспощадному действию. Говорил он в диалогах — отрывисто, повелительно, немного нетерпеливо, а в беседах — монологах — очень драматично, выразительно и живо, богатым образным языком, не гнушаясь простонародностью и грубоватостью.

Способы его общения с посетителями и руководства были очень разнообразны: иногда это была обстоятельная, ученая беседа, большую частью монолог. Со мною часто бывало, что я шел к нему, приготовив и обдумав несколько определенных вопросов. Придешь, Владыка ни о чем не спросит, даже не даст рта открыть, усадит и начинает сам говорить; и очень редко бывало, чтобы в этом обширном монологе я не нашел прямых ответов на вопросы, с которыми я пришел. Иногда руководство Владыки выражалось в форме исповеди, тщательной, настойчивой, беспощадной; иногда это было гневное «отчитывание», если это нужно было по соображениям его педагогики. В гневе, в обличении Владыка был страшен, но, по его словам, при самом сильном штурме гнева в душе его всегда оставалась тишина, «кусочек ясного голубого неба», иногда это была молитва; многократно и на себе, и на близких, и на незнакомых мне посетителях я наблюдал

силу и действенность молитвы Преосвященного.

Бывало, что он прерывал неожиданно беседу и уходил в свой кабинет, явно для молитвы, на несколько минут.

Беседы Владыки касались самых разнообразных вопросов: житейских, научных, философских, но было у него несколько излюбленных тем: греческий язык, брак и семья, некоторые психологические вопросы, главным образом, из той не существующей еще науки, которую проф. о. П. Флоренский называл биографией.

Об увлечении Владыки греческим языком в связи с греческим Евангелием я скажу ниже, в связи с его беседами на эти темы. А сейчас — несколько слов о двух последних темах.

Вопросы индивидуальной психологии, характерологии и биографии занимали Владыку прежде всего как духовного руководителя множества разнообразных душ: от торговца квасом до профессора московских клиник. У него был особый вкус и чутье к вопросам человеческой психофизиологии, к той области, где душевные проявления стоят в связи с физическим складом человека, к вопросам расы, породы, крови, темперамента. Справками из этих областей он часто мудро объяснял и разрешал запутанные положения и сложные вопросы, с которыми к нему обращались его духовные дети. Часто, говоря об определенных людях и их пороках, он говорил: «Это у него — в крови, в самой его физиологии; от этого он избавится, только освободившись от тела», и из житий святых приводил примеры прочности и неискоренимости черт темперамента, как, например, гневливости.

Не только как духовник, но и как учений, психолог он всматривался в человеческие характеры, из года в год следил и делал записи за отдельными лицами, давал мастерские психофизиологические портреты, и, я думаю, не без влияния его о. П. Флоренский пришел к задаче найти законы, по которым строится индивидуальная биография, характеристика имени и его влияние, планетные типы и т. д.

Обширные наблюдения и выводы в этой области Владыка особенно применял к двум сферам практической жизни: браку и выбору жизненного пути. Отрывочно приведу то, что вспомнилось.

Семью, семейную жизнь Владыкаставил очень высоко; у него было очень яркое представление дома, очага, семьи в их первичности, праведности, благословенности. Особое значение он придавал сов-

местной трапезе, видя в ней не только процесс насыщения, но и некоторое тайнодействие. Пища, приготовленная женой, и пища ресторанныя, приготовленная для всех вообще неизвестными людьми, — совершенно разные вещи. «Муж должен есть только из рук своей жены», — говорил Владыка. — Муж, переночевавший вне дома, под чужой крышей, этим самым изменил своей жене». В своих отношениях к домашнему очагу Владыка проявлял характерную для православия чуткость в различении органических соединений людей (семья, монастырь, церковная община) от механических — канцелярия, школа, отель, где соединение людей происходит по случайным признакам; и зло таких соединений двоякое: они ослабляют человеческую душу, отрывая ее от связей органических, и разворачивают ее, приучая к несерьезным внешним отношениям (временность, неполнота и случайность связей механических).

К Владыке часто обращались со всякого рода семейными затруднениями, касающимися семейных ссор, развода, воспитания детей, выбора невесты. Владыка входил во все подробности обстоятельств и неоднократно мудро разрешал, казалось, неразрешимые вопросы. У Владыки были точно выработанные представления об условиях удачного соединения в браке, особенное внимание он отдавал «породе», сословию, национальности, даже происхождению из той или иной губернии. Меньше всего он принимал во внимание «увлечение», влюбленность и часто указывал определенный выбор вопреки «чувству».

Я посещал Владыку особенно часто в 1909-10 годах и, вернувшись от него, обычно в тот же день записывал его беседу.

Меня познакомил с ним мой друг Ф., для которого Владыка был духовным руководителем с 1904 года. Это произошло, помнится, в 1906 году, но записывать свои беседы с Владыкой я стал только с конца 1908 года.

В декабре 1908 года я убедил одну мою знакомую барышню П. Б. посетить Владыку для беседы. Он сначала не впустил ее, «боялся», как он мне потом объяснил: «как бы она не устроила какой-нибудь демонстрации», но, услышав по голосу, что она в мирном настроении, впустил ее и очень ласково с ней разговаривал, все время держа ее за руки. П. Б. вернулась от него очень веселой: я первый раз за много недель увидел ее в таком светлом настроении.

Через несколько дней я вновь посетил

Владыку в обычный приемный час (11-12 ч. утра). Я пришел рано, но у Владыки уже была посетительница, какая-то незнакомая мне дама средних лет. Я принял благословение и сел в стороне, а Владыка продолжал прерванный моим приходом разговор: длинный, скучный — о докторах, диете, о своих болезнях, причем, как обычно, Владыка говорил один.

— Я человек больной, — говорил Владыка, — постной пищи не переношу совершенно. Для меня молоко — прямо спасение. Здесь есть одна женщина, коровы у нее, так она присыпает мне и молоко, и масло, и сметану. И даром все, да еще за счастье считает. Я бы и в пост пил его, да не могу — привык постить, в рот не пойдет; да и соблазн другим; так и не приходится есть вовсю. Утром съешь кусочек просфоры с чаем, потом обед — ешь насильно, чтобы не ослабеть, да и пища все тяжелая: все рыба, ну судак там, севрюга, осетрина; только чаем и спасаешься. (Я много раз видел, как обедает Владыка; обыкновенный постный стол: великолепные щи со свежей рыбой, жареная рыба с картофелем, печенные яблоки. Чай в большом количестве с медом и вареньем.) Это вегетарианство было бы еще ничего, если бы я не жил арестантом; при свежем воздухе, движении, работе это было бы даже совсем хорошо. Но здесь я ничего этого не имею. Если я пойду с лопатой снег разгребать, вы первая меня осудите.

Затем Владыка много говорил о своем докторе, запорах, геморрое, который у него с шестнадцати лет, о том, что он не умрет от удара, потому что у него не такое сложение.

— Вот живет здесь у нас Иоаникий — на покое. Тот другое дело. Аскет, постник, ничего не ест: стакан-два молока да вот еще фрукты любит. Как он приехал сюда, я послал ему разных фруктов, узнал, какие он любит. Так вот он — другое дело, у него кость широкая: раз уже хватил его удар. Я бы на его месте что бы сделал: все бы оставил, службу, дело, и пошел бы в затвор.

Я насторожился, ожидая, о каких аскетических упражнениях будет сейчас говорить Владыка.

— Выписал бы все книги, — продолжал он, — где о моей болезни написано, и изучал бы их, чтобы знать, что мне делать, чего ожидать.

Между прочим, Иоаникию было в то время 69 лет.

— Ведь наши архиереи невежды, хуже мужика, медицины не знают. Ведь нас не учат этому.

Этот длинный монолог неоднократно прерывался посетителями. Сначала пришел мальчик двенадцати лет жаловаться на старшего брата, который бьет свою мать. Пресвященный слушал очень внимательно, даже впустил мальчика в переднюю против обыкновения.

Потом какой-то мещанин через запертую дверь спрашивал Владыку, благословит ли он его открывать квасную торговлю. Владыка прогнал его очень сурово:

— Я квасом не торговал, не знаю. Ступай!

Опять звонок. Через дверь Владыка сунул ровным голосом:

— Кто там?

— За благословением, батюшка, — бабий робкий голос.

— Да кто ты? Имя как?

— Фекла, батюшка...

— Что ж тебе надо?

— Жизнь такая тяжелая... — Баба начинает всхлипывать. — Муж бросил, трое детей...

— Ну что ж, дети — богатство. У тебя трое, а у меня вот ни одного. Радоваться надо.

— Благословите, батюшка, помогите чем-нибудь.

— Что ж, тебе денег надо?

— Да уж что дадите.

— Да разве ты нищенка?

— Нет, я не нищенка, дети у меня...

— Ну, на детей можно.

Владыка идет к себе, долго копается, звенит деньгами и, наконец, выносит бабе сорок копеек.

— Вот вам, идите. Да не плачь! — говорил он по-прежнему строго, но баба уже прямо ревет. Владыка сует ей еще денег: — На еще, только не плачь, ради Бога, не плачь.

— Вот всегда они так, — говорит он нам, возвращаясь в приемную, — наговорят, наплачут, да еще им денег плати за это. Хорошо, что еще нашлось, что дать, а то иной раз не то что сорока — четырех копеек нет.

Я как-то раз спросил Владыку, почему он так суров с посетителями.

— Много я слез проплакал вместе с ними, — сказал Владыка, — все выплакал, теперь у меня глаза всегда сухие.

Приблизительно через час после моего прихода Владыка предложил dame-посетительнице обед, а меня увел в свой кабинет «секретничать».

До начала серьезного разговора я передал Владыке справку, сделанную мною, о филологе Фокове, которым Владыка интересовался. Узнав, что он умер, Владыка

был сильно поражен, начал креститься и молиться.

В начале 1909 года Владыка был болен, слаб, очень боялся простуды и принимал свои меры: заперся в своих комнатах до весны, не подпускал близко пришедших с воздуха, а разговаривал, стоя на пороге приемной, закрыв рот рукой. Его прямая, высокая фигура, исхудалое лицо, неулыбающиеся темные глаза производили на меня немого жуткое впечатление.

У меня в это время было тягостное литературное судебное дело, его отложили рассмотрением, и я пришел 25 февраля посоветоваться с Владыкой о дальнейшем. Я сидел довольно долго в приемной-гостиной и с томлением слушал, как Владыка тяжело с раздумьем вздыхал в соседней комнате. Мне было немного страшно: неужели это он обо мне.

Вышел он, против моего ожидания, веселым, бодрым и сейчас же благословил меня. Оказывается, он не выходил, ожидая, пока не восстановится равновесие температуры, нарушенное моим приходом. Он уселся в кресло, как всегда, держась прямо, и после коротких вопросов о деле (он почему-то очень был рад, что дело отложили) начал говорить, глядя в сторону и иногда улыбаясь.

— Непременно, непременно займитесь чем-нибудь. Вы человек молодой, способный, рано вам в отставку, на мое место. Да и тяжело это: не всякий выдержит — других это озлобит, исковеркает. Вот наши архиереи — чуть в отставку, он и не знает, что с собой делать, хандрит, скучает, а то возьмет и умрет. Я не понимаю этого, я никогда не знал, что за штука такая — скучать. Куда меня ни кинь, я найду себе дело.

А все от того, что есть у меня одно качество.

Он немного помолчал, а потом совсем просто, как будто говоря самую обычную вещь, продолжал:

— Качество это — мое золотое сердце. Это моя способность погружаться до дна в каждое положение, входить в душу каждого, кто приходит ко мне, и говорить с ним как с самым дорогим человеком.

А потом есть у меня еще занятие — греческое Евангелие. Сегодня я как только встал, сейчас же взялся за него. Я не знаю высшего удовольствия, как говорить с Ним, разбираясь в Его словах: ведь греческий язык был общепринятым в то время во всей Палестине, и возможно, что и Он, и ученики Его говорили теми же звуками, которые мы читаем в Евангелии. Иногда

попадешь на одно слово и носишься с ним целый день. А ведь для этого нужна и наука, и психология, и знание языка. Если бы я прожил еще сто лет, я продолжал бы заниматься тем же, и это мне не наскучило бы.

Другие занимаются философией... Ну, древняя философия еще ничего: она естественная, природная, без кокетства; а новая — ерунда, туман; или материализм или гностицизм. Я пробовал читать: подойдешь к этому туману, начнешь расчленять, делить, и на первом слове — стой, и оказывается, что все произвольно, шатко, основные понятия не определены.

А то еще и такие, что ищут какую-то силу, гипноз и все такое. Я этого не терплю. Природа, правда, — вещунья; у нее и пророчества, и чудеса, и тайны — да тебе-то что.

Да так вот я и говорю: я доволен своим положением. У меня есть Собеседник, а кроме Него Его ученики, апостолы, а потом — ученые, исследователи. Я никого не отрицаю, я всех выслушаю и возьму, что смогу и что найду для себя полезным.

Из своего заточения Владыка зорко следил за современной жизнью: он был в курсе многих течений, которыми бурлила Москва в мутный период 1908—1910 гг. Многие из видных деятелей разнообразных религиозных и мистических течений были ему хорошо известны, кое-кто посещал его. Особенно близко к сердцу принимал он частые среди молодежи увлечения внехристианской и антихристианской мистикой. По отношению к таким он имел свою особую стратегию и педагогику.

Однажды среди разговора вне связи с его темой он вдруг спросил меня:

— Вы не знаете ли Бр.?

Я знал этого студента, очень талантливого и стремительного, частого посетителя Религиозно-философского общества, в последнее время запутавшегося в теософии, иогизме, оккультной практике и дошедшего до сильного нервного расстройства. Я рассказал Владыке, что знал. Он слушал насторожившись.

— Знаете что, — сказал он потом с живостью, — у них (у теософов) свое общество, а мы устроим свое. Уж я выдам вам свои тайны. Тут приходила ко мне одна барышня, тоже запуталась с ними и хочет освободиться. Бр. тоже был у меня; я отпустил его и просил зайти после. Так вот вы и соберите мне все сведения о них, кто у них главный, где живет, где они собираются и тому подобное. Мне нужно быть в курсе всех их дел.

В связи с этим он много мне говорил о поэте Б.

— Это юноша изящный, нежный; ему нужно чистое дело, а не туман. Я давно за ним слежу, но только я человек гордый, самолюбивый, в чужую душу я без приглашения лезть не стану. Вот если бы ко мне сам обратился — это другое дело. Тут я пустил бы в ход свою педагогику. Я начал бы понемногу. Сначала попросил бы его показать мне какое-нибудь свое произведение. Потом стал бы анализировать его, но только не главное, а так, какую-нибудь мелочь, чтобы через эту городку постепенно подобраться к главной его цитадели.

Он помолчал, а потом серьезно сказал:

— Он плохо кончит. Я не пророк, но я вижу, что если он вовремя не остановится, то погибнет совсем. Я знаю, он эти опыты (развития в себе оккультных сил) давно уже стал делать, с тех пор, как умер отец. Растрепется совсем, а жаль, он человек талантливый.

Очевидно, эта тема очень занимала Владыку, потому что через месяц он снова в беседе со мною вернулся к ней.

— Ему нужны точные, научные знания, а не фантазии и субъективизм. Субъективизма и у меня много. Я бы сказал его матери, да боюсь. Она мне говорила о сыне, что, мол, у него талант и тому подобное, а я прикинулся непонимающим, бестолковым и молчу себе. Вот если бы она сама меня спросила. А это другое дело. Я бы ей тогда рассказал. А то наговоришь чего, а они обидятся, сразу у них в преисподнюю и провалишься. А я этого не желаю, мне нужно в их сердце прочное место завоевать. А то посадят тебя в подвал, в нижний этаж. Я этого не хочу; я хочу в самый верхний этаж. Я люблю горный воздух, орлиные места — залететь туда да и считать оттуда ворон.

Последнюю тираду он произнес с большой силой, будто грозясь кому-то. В нем самом сразу проглянуло что-то орлиное.

Я стал рассказывать ему про курсистку О., убежавшую из одного кружка оккультистов, которую мои друзья слишком поторопились «спасать».

— Нехорошо это, — сказал Владыка, — поторопился Ф. Надо помнить Евангелие. Во-первых, это насилие, во-вторых, сказано ведь: «не мечите бисера перед свиньями», а в ней столько бродит еще этого свинского. Я бы ее не так вел. Я бы ее подготовил сначала, никогда сам ничего не предлагал. Пусть бы она сама попросила. Да и тут я не сразу согласился бы (дело шло о причащении Св. тайн). Вот когда она

стала бы требовать, доказывать, что она готова, тогда другое дело. Я всегда оставляю полную свободу. И это самая лучшая политика. А то ведь иначе как выходит? Ведь она все на тебя же потом свалит. «Ты содействовал». — Я. — «Значит, ты и виноват»; «не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не потоптали его ногами и, обратившись, не растерзали вас». Вот я и не даю им права «обратиться», но зато по-тихоньку так взнудзаю такую свинью, в такие введу ее оглобли, что тут уж она не повернется.

Через несколько дней (22 марта) я опять был у Владыки. Всегда я шел к нему с некоторым волнением и даже страхом, а сейчас особенно волновался, так как прямого дела у меня не было никакого и я боялся беспокоить Владыку в первый же день страстной недели. Но его беседа в то время так была мне необходима, что я решил с и пошел.

Когда я вошел, он горячо беседовал с господином лет пятидесяти (потом Владыка рекомендовал его как члена Русского окружного суда).

— Мы хорошо знаем ее православие, — иронически говорил Владыка, продолжая прерванный разговор. — Вы вот истории не знаете. А вот почитайте, что она сделала с епископом Мацевичем. Мучеником он был. Я за упокой его души всегда молюсь.

Тут Владыка раскрыл какую-то книгу и прочел из нее краткую характеристику епископа Мацевича.

— «...расстрель его и назвать Андреем Вратлем». Вот она как, игуменья-то наша! Вот ее православие! Вот она все монастыри наши и позакрыла. Прежде Русь оттого и была святая, что всюду по ней обители стояли. Здесь и благочестию учились, и лечились от болезней — это наши курорты были. А теперь, как поднялась эта волна — революция, как наступила эта тьма, куда народу обратиться? В кабак? В клуб? Вот я и пробую открывать то, что она по-закрывала.

Вот отыщите мне игумена, — вдруг обратился он ко мне.

— А как же у вас с Феодосием, Ваше Преосвященство? — спросил я. Дело шло о хлопотах Владыки по открытию Соловецкой Пустыни возле Симбирска. На Феодосия он сильно надеялся, видя в этом имени нечто провиденциальное, так как первый игумен Соловецкой Пустыни был тоже Феодосий.

— Не отпустил его Вениамин, — сказал Владыка, — самому, говорит, нужен. Что ж, я покорился. У меня и не дрогнуло ничего. Да будет Его святая воля. Может

быть, даже это и лучше. Мне нужен образованный человек, а Феодосий, кажется, дальше городского училища не пошел.

Я вам сейчас опишу, какой мне нужен игумен. У меня к нему два требования: у Апостола Петра (здесь Владыка начал говорить медленно, раздельно, с некоторым усилием, как всегда, когда он говорил что-либо особенно важное) есть место: «Будьте готовы всякому дать ответ в упоминании вашем». («Будьте готовы всегда всякому, требующему у вас отчета в вашем упоминании, дать ответ с кротостью и благоговением») I.П.III, 15.) Я проанализировал это место по греческому тексту. Так вот мне и нужен такой, чтобы всякому мог дать ответ, защититься, веру свою доказать, чтобы умел сдачи дать всякому, так, чтобы в ушах звенело. Недавно ко мне приходила одна католичка, недовольна своим ксендзом. Ну, я как психолог сейчас же начал рыбу ловить. Говорю ей: «Ваши ксендзы такие ученые, благочестивые». А она мне тут и стала рассказывать, даже имена назвала. Ну так вот с ней как быть. Ведь ей надо суметь объяснить все, что она станет спрашивать о католицизме, православии, лютеранстве.

А второе свойство игумена — я тоже беру его из Евангелия. Когда Господь посыпал на проповедь своих учеников, он им дал дар исцелять болезни и изгонять бесов: «Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и если что смертоносное выпьют, не повредят им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Так мне нужны два из этих свойств: первое и последнее. Игумен должен бесов гонять. Их теперь много развелось. Никогда ко мне не приходило столько бесноватых, как теперь, после революции. А для того, чтобы иметь силу изгонять бесов и исцелять, надо быть бессребреником.

Собеседник стал было возражать, что такого игумена не найти, но Владыка веселым голосом перебил его:

— Я оптимист, а вот вы пессимист, это нехорошо. У вас дочь невеста, надо, чтобы и вы были человек веселый, а то вашу дочь никто замуж не возьмет.

Ну так вот, — продолжал он, — сыщите мне такого игумена, откуда хотите: из духовенства, из дворян, из купцов, крестьян. Лучше, конечно, из духовного или дворянского сословия, а то в этих плебейских классах много фарисейской закваски. Невежды они, больше за внешнее благочестие держатся. Двумя или тремя перстами креститься? Да не все ли равно.

Я бы обрубил ему все пальцы, вот и крестись, как знаешь. Ненавижу я их всех, этих невежд, раскольников, секты, и говорить с ними боюсь: мужик меня не поймет да еще осудит.

Приближалось время обеда, и Владыка уже не так строго следил за связностью своей речи. Не помню, в какой связи он заговорил о своем отвращении к телефону: рассказывал очень живо, со смехом и жестами.

— Однажды Преосвященный Димитрий вызывал меня к телефону, а я отродясь не говорил по телефону, да и боюсь, вдруг он выстрелит мне в ухо или еще что-нибудь. Подхожу, беру эту трубку — мерзость ужасная. Слушаю: говорит Преосвященный, голос, как у марионетки какой-нибудь, пискливый, скверный! Я сказал два-три слова, простился, бросил трубку да и бежать — все боялся, как бы он снова меня не позвал к этой машинке.

У Владыки было вообще инстинктивное (не принципиальное) отвращение к «завоеваниям цивилизации». Он не любил трамвая, железной дороги; вообще, ему была отвратительна замена живых и моральных отношений к людям, к природе, пространству — отношениями мертвыми и механическими, а потому разговор лицом к лицу он считал более моральным, достойным человека, чем через трубку телефона.

Посетители разошлись. Мы стали обедать. Подали хороший рыбный суп и грибы.

— Вы уж извините, у нас сухоядение — страстная неделя.

Владыка ел совсем мало, больше налегая на маринованные грибки, которые он ловко вылавливал вилкой из узкой стеклянной банки.

В разговоре я мимоходом заметил, как оскорбляет и задевает новых православных из интеллигенции, особенно девушек, запрещение женщинам входить в некоторые скиты.

— Я этого запрещения не понимаю. Ну, а если бы Богородица подошла к скиту, и ее прогнать? А если бы я пришел туда со своей матерью? Меня пропустили бы, а ты, мол, матушка, погоди за воротами. Нам заповедь дана: «чи отца и мать», а здесь учат как раз непочтению к матери. Я не знаю, кто это выдумал, а я бы такого уставщика...

Я осмелился заметить, что этот запрет только расширение 55-го правила Лаодикийского собора, запрещающего женщинам входить в алтарь.

— Я не знаю этих правил, — с пренебрежением прервал Владыка. — Да потом

там алтарь, там черта проведена, а тут скит; неужто у них по всему скиту такая святость? Что ж, у них и в н... тоже святость? Вот до какого кощунства договариваются! Я понимаю пустынножительство, но тогда уж всем запретить вход.

— Я не понимаю, ваше Преосвященство,— сказал я за тем же обедом,— каково будет юридически ваше отношение к Соловецкой Пустыни и ее игумену.

— Да никакого или такое же, как ваше и всякого другого. Я буду ездить туда летом; ко мне, если захочет, будет приезжать игумен с разными вопросами — больше ничего. А вы чего же бы хотели?

В те времена я очень неясно представлял себе служебные и иерархические отношения в Церкви и поэтому в очень осторожных, правда, выражениях спросил его, почему бы ему самому не стать во главе монастыря.

— Ну нет! Чтобы я связал себя цепями! Ни в коем случае! Это для меня слишком низко, я дальше смотрю. Я — епископ Вселенской Церкви. А там мне придется и к архиерею, и в консисторию, и к нотариусу — благодаря покорно. Мы епископы — недаром стоим на орлецах: мне дело сидеть здесь да и высматривать орлиным глазом. Нет! Я отсюда не уеду!

Я понял, что сказал большую глупость. Действительно, все время Владыка кипел, занятый очень разнообразными делами. Между прочим, он присматривал в самой Москве один упраздненный монастырь, бывший еще во времена царя Алексея Михайловича приютом для любителей книжной мудрости. Там он думал устроить особое братство и сделать его идейным центром, просветительным, миссионерским. В разработке этого плана ему очень помогал его духовный сын, тогда приват-доцент Московской Духовной Академии, впоследствии священник Ф.

Не помню точно, когда и по какому случаю Владыка заговорил со мною о «любви к себе».

— Какая самая большая заповедь? — Возлюбите Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего как самого себя.

«Как самого себя», — раздельно повторил он, — вот тебе мера, критерий. Рассмотри сначала, любишь ли ты себя и как любишь. Может, любовь-то у тебя скотская, а ты хочешь и людей, да и Бога так любить. Нет, ты пройди сначала первый класс, а потом уже лезь дальше. Я по крайней мере сижу в первом, да так в

нем и умру. Оно и лучше: если нужно кому-нибудь помочь — Бог неведомыми путями воспользуется тобой так, что ты и не заметишь. А иначе — гордость. Нет. Я не тороплюсь. Уж если Бог меня принудит, поставит в такие тесные обстоятельства, что иначе невозможно, ну, тогда другое дело, а пока этого нет, нечего сажому торопиться.

В октябре месяце этого года я посетил Владыку по очень тяжелому делу. Вопросшел о его духовном сыне, моем друге, которого Владыка в 1904 году направил в Академию, но решительно «не пускал» в монастырь. В этом году Н. находился в крайне тяжелом настроении, в состоянии «тихого бунта».

— Если увидишь Владыку, — сказал он, провожая меня, — скажи ему обо мне. Можешь сказать, что я часто хочу видеть его, но не приеду, так как все равно не послушаю, что он мне скажет. Мне трудно многое убить в себе, но что из этого выйдет? Я бы мог убить в себе все, что связано с полом, но тогда во мне умерло бы всякое научное творчество — прежде всего. Ты говоришь, что так и надо, что через такую смерть проходили все подвижники. Я знаю это, но ведь меня не пускают в монастырь, мне велят читать лекции. Почему от многих сочинений, учебников и тому подобного, семинарских особенно, пахнет мертвечиной? Как будто бы все на месте, большая ученость, приличный язык, даже мысли есть — а читать невозможно? Потому что их писали скопцы. И я бы мог так записать, но кому нужны такие книги? Вот теперь мы с тобой писшем о Дионисе (я помогал ему в это время кончать одну работу по истории греческой религии). Но ведь я должен пережить все это, перечувствовать. Сегодня я не спал всю ночь от какого-то общего возбуждения, как будто я сам участвовал в Дионисовых празднествах. И так все.

Я передал Владыке при встрече главные факты. Владыка слушал, сидя боком и усмехаясь в бороду, но когда я сказал об алкоголе, он стал серьезен.

— Рано начал, — бормотал он. — Скажите ему, — быстро сказал он, — что я очень прошу его удерживаться до тридцати лет. Пусть собирает все силы. Потом уже не опасно. Кровь бродит до тридцати лет, и последние годы особенно опасны.

Взволнованный, он встал и вышел в свою комнату. Потом вернулся и продолжал:

— Пусть применяет мой сократовский метод анализа понятий. Летом я поеду в Соловецкую Пустынь и возьму его с собой.

Передайте ему это — это его ободрит.

Не без молитв Владыки, я думаю, в состоянии Н. вскоре наступило улучшение, через несколько дней он написал Преосвященному большое письмо. Еще через некоторое время он женился, принял священство, и эта длительная темная полоса его жизни стала прошлым.

В 1910 году я редко бывал у Владыки и все как-то ненадолго и случайно: то он был болен, то занят спешной работой. Осенью он сильно был занят старообрядчеством, читал их книги, собирая литературу, между прочим, поручил мне купить ему все сочинения Мельникова-Печерского.

Перед самым Рождеством вдруг заинтересовался ибсеновским «Брандтом» и попросил собрать о нем литературу. С февраля Владыка опять болел инфлюэнцией, но все же вышел ко мне, когда я посетил его. Он принимал свои обычные меры: никуда не выходил, не принимал посетителей, а если и делал для кого исключение, то с полчаса не выходил, пока посетитель не согреется, да и то близко не подходил и не благословлял.

По обыкновению, Владыка предпочел монологическую форму «разговора», много говорил между прочим о Д. С. Мережковском, говорил, что понимает его ан-

типатию к русскому самодержавию, говорил о множестве исторических ошибок, допущенных нашим правительством, упрекал его в покровительстве немцам и в полном непонимании основного духа нашей народности и православия.

Это была моя последняя встреча с Владыкой.

В этих отрывочных заметках я хотел дать почувствовать читателю скрытую для многих, но очень существенную сторону русского православия. Она касается не внешней организации, не догматических или культовых особенностей, а самой первичной и глубокой жизни православного народа. Под формами пространственных делений (епархии, приходы) живет иная организация живых элементов православной Церкви, организация, пространственно не совпадающая с этой первой, расположенная, так сказать, в ином плане и создающаяся по иному, не территориальному принципу. Центрами ее являются особые духовно одаренные личности, районы действия этих центров безграничны, а суть ее — в свободном избрании и добровольном подчинении одних и руководительстве других.

Если мне удалось дать конкретное ощущение одного уголка этой жизни, я сочту свою задачу исполненной.